

18+

# СВИДЕТЕЛЬ ЧУМЫ

роман



КАН ЛАРЭ

# Кан Ларэ

## Свидетель чумы

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=73262668](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=73262668)*

*ISBN 9785006905771*

### Аннотация

НЕЗАКОННОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, ИХ АНАЛОГОВ ПРИЧИНЯЕТ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ, ИХ НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ ЗАПРЕЩЕН И ВЛЕЧЕТ УСТАНОВЛЕННУЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. Матьё, обычный юноша XIV века, должен был умереть от Чёрной смерти – но очнулся в отдельной могиле живым и перестал стареть. Сквозь века он учится исчезать: церковные книги, печать, архивы, фотография, лаборатории, алгоритмы и ДНК превращают его лицо в улику. Любовь становится риском. В наши дни «потерянный образец» поднимает прошлое снова – и на стамбульском базаре остаётся лишь зелёная зелёная бусина.

# Содержание

Свидетель чумы	5
Глава 1. Город, который отрёкся	14
Глава 2. Чужая кожа	24
Глава 3. Паломник без Бога	33
Глава 4. Печатный дьявол	48
Глава 5. Ересь тела	58
Конец ознакомительного фрагмента.	60

# Свидетель чумы

Кан Ларэ

© Кан Ларэ, 2026

ISBN 978-5-0069-0577-1

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

# **Свидетель чумы**

**Кан Ларэ**

**роман**

**\* \* \***

**Кан Ларэ**

## **Пролог. Отдельная могила**

Сначала была тишина.

Не та тишина, что приходит в дом, когда последний в нём наконец заснул, а тишина земли – плотная, безвоздушная, настоявшаяся на сырости и извести. Она давила на губы, на веки, на язык, будто кто-то положил поверх лица мокрый войлок и забыл снять.

Матьё очнулся не от боли – от непонимания.

Он лежал так тесно, что не мог развернуть плечо. Грудь упиралась во что-то мягкое и тяжёлое одновременно; это было не одеяло, не солома. Он попытался вдохнуть – и вдохнул.

Воздух ударил узкой струёй, как через трещину. В нём бы-

ла земля. В нём была зола. В нём было что-то сладковатое, неестественное – известь, которой посыпают то, что боятся трогать руками.

«Я жив», – подумал он и тут же усомнился в этом.

Он не помнил, как его положили. Помнил жар, от которого кожа на плечах казалась чужой, и небо, которое расплывалось, как мокрая бумага. Помнил, как в дом вошли люди с повязками на лицах – такие, словно у них не было ртов. Помнил мать, стоящую у печи, и зелёные бусины в её пальцах.

Она плела браслет быстро, отчаянно, как вяжут узел на верёвке, когда у берега уже шумит вода.

– Возьми, – сказала она. – Носи, пока лихорадка ходит по улицам. Это от дурного глаза... и от того, что хуже дурного.

Он тогда хотел улыбнуться – у него уже не было сил на улыбки, но было желание не пугать её. Она затянула плетение на его запястье, и зелёные бусины – дешёвое стекло, добытое у торговца, который теперь, вероятно, уже лежал в общей яме, – холодно коснулись кожи.

Теперь браслет был здесь же, рядом с ним, под слоем грязи и сломанных ногтей. Он почувствовал его, когда в панике рванул рукой: плетение впилось в запястье и тут же, сухо и тихо, лопнуло. Несколько бусин сдвинулись, но не рассыпались; нитка застряла в комке земли.

Матьё попытался пошевелиться. Земля ответила тяжестью, как будто он двигал не тело, а стену.

Паника пришла не сразу – она всегда приходит, когда мозг успевает представить, как будет выглядеть конец. Он представил: вот он, похороненный отдельно – чтобы чума не «встала» и не пошла дальше. Вот известь, вот теснота, вот темнота. И никого наверху.

Он закричал – и крик вышел слабым хрипом: рот был полон земли. Он снова вдохнул, выдохнул, и вдруг понял самое странное: ему не хотелось пить. Не хотелось есть. Тело не просило ничего, кроме пространства.

Это было не облегчение. Это было нарушение порядка. Человек, которого хоронят, обязан хотеть жить. А он хотел – и одновременно не нуждался в том, что обычно удерживает живых.

Ему стало страшно не от земли, а от собственного спокой-

ствия. Он помнил, как в детстве голод заставлял его видеть хлеб во сне. Помнил, как после тяжёлого дня руки сами искали миску, даже если в миске пусто. Теперь руки искали – и не находили сопротивления. Мир не давал ему потребности, за которую можно зацепиться.

Он попробовал на вкус своё дыхание. В нём была глина, в нём была известь, и где-то в глубине – привкус металла, будто язык коснулся монеты. Он понял: это кровь во рту. Он должен был чувствовать боль. Но боль приходила как факт, без истерики тела, без привычного «пожалуйста, остановись».

Матьё сжал пальцы и начал копать.

Поначалу он работал как зверь: ногтями, кулаками, лбом, всем, что могло раздвинуть землю хоть на толщину волоса. Земля осыпалась обратно, забивала нос, вдавливалась в ресницы. Он отхаркивал её и снова вталкивал ладонь в стену, как в тесто.

Время потеряло вид. Он не знал, сколько минут или часов прошло. Он знал только, что руки должны двигаться, иначе тишина вернётся и прижмёт его навсегда.

И вдруг – воздух.

Он пришёл внезапно, холодный, сырой, ночной. Матьё вырвал голову наружу, как рыба, выброшенная на берег. Небо было низким и пустым, без звёзд: облака висели, как грязная ткань. Дождь начинался, но ещё не решил, будет ли он настоящим.

Матьё сел в своей могиле, наполовину выкопанный из земли, и впервые увидел, где оказался: отдельная яма, чуть в стороне от других свежих бугров. Ни крестов, ни свечей. Только известь, рассыпанная щедро – как соль на рану.

Его руки дрожали. Но не от слабости.

Он посмотрел на ладони – и понял, что на них нет того, что должно было быть после смерти: нет синевы, нет распухших вен, нет страшной холодной неподвижности. Он был грязный, исцарапанный, в земле по локти – но выглядел... как человек, который просто долго работал.

Слишком долго.

Он ощупал шею, грудь. Сердце билось ровно. Сухо. Спокойно. Ни торопливости, ни усталости. Как будто оно не догоняло страх, а наблюдало за ним со стороны.

Матьё снял с запястья остаток плетения и спрятал под рукав, поближе к коже. Он не знал почему – знал только, что это его единственное доказательство, что у него была мать и была жизнь, в которую можно вернуться. И одновременно – улика, которая однажды может его погубить: любой спросит, откуда браслет, кто плёл, где семья, где дом, где могила.

У него уже была могила.

Он выбрался наружу и, пригнувшись, побрёл прочь – не к городу, где его знали, а в темноту между дорогами. В мокрой траве прилипали комки извести, белея на сапогах. Он шёл и слушал мир.

Мир пах дымом, гниющими тряпками и страхом.

Где-то далеко, за тёмной линией деревьев, ударил колокол – один раз, затем второй. Не церковный перезвон, а тяжёлый, короткий звук, который слышат, когда выносят из дома ещё одного.

Матьё остановился, и его тело – чужое в своей спокойной исправности – отказалось дрожать, хотя разум дрожал за двоих.

Он поднял рукав и нащупал плетение. Бусины под пальцами были холодны, словно их только что вынули из воды. Ему хотелось поверить, что они спасли его. Но то, что сидело в нём теперь, не было спасением. Оно было переменой, которой никто не просил.

Он пошёл дальше, вниз по склону, туда, где начиналась дорога. Дорога была пустой: чума опустошает не только дома, но и шаги.

На ладони у него оставались следы извести – белые, как чужая кожа. Он тёр пальцы о траву, но белизна не уходила: известь цеплялась за ногти, за складки, за линии на ладони. Ему показалось, что он стал отмеченным, как животное, которому поставили знак, чтобы потом узнать среди других.

Ветер принёс запах огня. Не костра – печи, где жгут тряпье и одежду умерших. В этом запахе была практичность, страшная своей обычностью: люди учатся умирать так же быстро, как учатся варить суп на воде.

Вдали мелькнули фигуры – двое, несущие что-то между собой. Он остановился и прижался к кустам. То, что они несли, было завернуто в ткань. Ткань свисала слишком ровно. Он узнал эту ровность: так свисают руки, которые больше не держат тело.

Один из них споткнулся, и «свёрток» качнулся. На секунду Матьё увидел лицо – серое, с припухшими губами. Лицо было знакомым и незнакомым одновременно. Он понял, что может узнать половину города теперь так же, как узнают вещи на рынке: по форме и весу, а не по имени.

Он отвернулся. Не из брезгливости – из осторожности. В этом мире взгляд стал действием: кто смотрит слишком долго, тот вовлекается. А вовлечённый оставляет след.

И всё же в грязи он увидел следы – свежие, тяжёлые. Кто-то приходил сюда недавно. Кто-то убеждал себя, что извести достаточно.

Матьё оглянулся на могилу. В темноте она уже почти растворилась, как и всё, что не имеет права быть названным.

Он подумал о матери и почувствовал странное: в памяти у него остался не её голос, а её пальцы. Пальцы, затягивающие узел. Пальцы, которые верили в узлы сильнее, чем в молитвы. В ту ночь он понял, что любовь иногда выражается не словами, а попыткой сделать невозможное руками.

Он шёл, пока ноги не стали тяжёлыми от налипшей земли. Но тяжесть была не в ногах. Тяжесть была в вопросе, ко-

торый он всё время отталкивал, как отталкивают языком камешек между зубами: если он не умер, то кто умер вместо него?

«Если я жив, – подумал он, – значит, я должен научиться умирать».

Эта мысль была первой, что прозвучала не как страх, а как правило.

# Глава 1. Город, который отрёкся

Он не планировал возвращаться.

Первые дни после могилы он шёл, пока мог идти, и останавливался только тогда, когда ноги начинали жить отдельной жизнью – не от усталости, а от привычки помнить усталость. Он ночевал в сараях, под навесами, в пустых амбарах. Иногда – рядом с дорогой, в траве, где дождь доходил до кожи без разрешения.

Сон приходил странно: не обрушивался, как раньше, а садился рядом, как человек, который не уверен, впустят ли его. Он засыпал и просыпался без ощущений, будто кто-то выключал свечу и снова зажигал её, не меняя воздуха в комнате.

Ему всё ещё казалось, что за спиной – погоня. Но за ним не шли: люди были слишком заняты тем, чтобы унести собственную смерть подальше от дверей.

На третий день он увидел первый обоз с телами.

Они ехали медленно, чтобы не растряссти то, что уже не чувствует. На телеге сидел мальчишка, лицо которого бы-

ло не взрослым и не детским – просто пустым. Он держал палку и отгонял собак. Собаки не боялись палки. Собаки боялись запаха извести.

Матьё отступил в кусты и переждал. Его тошнило бы – раньше. Теперь внутри было сухо. Сухость страшнее тошноты: тошнота – признак тела, которое сопротивляется. Сухость – признак тела, которое уже всё приняло.

К вечеру он всё равно повернул к городу.

Не потому, что надеялся. Потому, что невозможно идти в темноту бесконечно, не оглядываясь, куда именно тебя выплюнула жизнь. Человек хочет знать, что потерял, даже если потеря – его единственное имущество.

К стенам он подошёл в серый час, когда небо ещё не решило, будет ли утро честным. Сторожка у ворот стояла, но ворота были приоткрыты: город боялся закрываться полностью – иначе внутри пришлось бы оставаться наедине с самим собой.

Стражник был один. Он сидел на табурете, кутаясь в плащ, и держал у лица тряпку, пропитанную уксусом. Глаза у него были красные, как у человека, который давно не плакал и наконец начал.

– Куда? – спросил он, не поднимаясь.

Матьё сглотнул землю, которой уже не было во рту, и назвал первое имя, что пришло в голову.

– Жак.

– Жак?

– Иду к кузнецу... если он жив.

Стражник посмотрел на него внимательно – не как на путника. Потом отвернулся.

– Проходи. В городе всё равно никто никому не нужен, – сказал он и добавил тише: – Только не кашляй.

На улице пахло мокрой сажой и чем-то сладким, липким – это был запах закрытых домов. Запах, который появляется, когда люди внезапно перестают быть людьми.

Окна были заколочены крест-накрест. На дверях висели лоскуты – знак, что внутри «опасно». Иногда лоскуты были чистые. Иногда – нет. Матьё шёл и считал: чистый – значит, недавно повесили. Грязный – значит, давно не снимали.

Он искал свою улицу не глазами – памятью. Память вела его увереннее ног: она знала каждый камень, каждую выбоину, каждый запах булочной, который раньше был обещанием, а теперь был только воспоминанием об обещании.

Он поймал себя на том, что считает окна. Это было смешно: окна ничего не значили, если за ними пустота. Но он считал, потому что счёт – это попытка удержать реальность. Когда реальность расползается, счёт становится молитвой без Бога.

На одном перекрёстке стояла телега с солью. Соль теперь продавали дороже, чем раньше. Не потому, что соли стало меньше. Потому что люди начали солить не еду, а страх: соль обещала сохранность. Сохранность в эти дни была мечтой.

Проходя мимо, Матьё услышал, как торговец говорит покупателю:

– Не жалей. Посолишь – и не сгниёт.

Матьё подумал: если бы можно было посолить человека, чтобы он не сгнил, его бы уже посолили давно. Его уже посыпали известью. И вот он идёт.

На углу, где раньше торговали яблоками, стояла телега с углём. Продавец был в перчатках и не брал монеты голой рукой. Монеты переходили из ладони в ладонь через тряпку, как будто деньги стали новым видом заразы.

Матьё заметил, что люди перестали смотреть друг на друга. Они смотрели сквозь. Так легче: если не замечать лица, можно притвориться, что никто не исчез.

Его самого тоже почти никто не замечал – и это было бы облегчением, если бы не другое: он чувствовал, что проходит через город как через сон. Сон обычно заканчивается пробуждением. А здесь пробуждения не обещали. Город жил, как живут после пожара: ходят по знакомым улицам, но каждый поворот напоминает, что привычное сгорело.

У стены он увидел мальчика, который рисовал углём кресты на дверях. Рука у мальчика дрожала, но он выводил линии ровно, будто ровность может отогнать беду. Матьё понял: раньше люди просили Бога о защите. Теперь они просили линию.

– Зачем? – спросил кто-то рядом.

Мальчик не поднял головы.

– Чтобы знали, – ответил он.

«Чтобы знали» – вот новое заклинание. Знать означало выжить. Знать означало не зайти в неправильный дом. Знать означало иметь право не помогать.

Дом он узнал по кривой балке над дверью. Доски на ней держались так, будто цеплялись за воздух. На двери теперь висел чужой замок.

Он постоял, не касаясь. У него не было права касаться. Он был мёртвым в документах – если документы вообще ещё имели смысл. Но смысл всегда находится быстрее, чем хлеб: людям нужно оправдание.

Сквозь щель в ставне он увидел движение. Женщина. Не мать.

Матьё сделал шаг назад и в этот момент услышал голос – сухой, знакомый, как скрип старых ступеней.

– Не стой так. На тебя смотрят.

Он обернулся. На соседнем крыльце сидел старик – тот самый сапожник, который когда-то ругался с его отцом из-за пары подошв. Теперь сапожник был меньше, чем в памяти:

болезнь уменьшает людей ещё до смерти.

– Вы... – начал Матьё и осёкся. Его имя нельзя было проносить. Имя – это дверь, которую он должен был держать закрытой.

Сапожник прищурился.

– Ты похож, – сказал он осторожно, – но не будь дураком. Похожих сейчас много. Особенно на тех, кого уже нет.

Матьё хотел спросить: «А если я действительно тот, кого нет?» Но вопрос был бы признанием. Признание в эти дни было опаснее ножа.

Матьё заставил себя кивнуть, как будто принял это за комплимент.

– Я просто ищу работу, – сказал он. – Ночлег. Что угодно.

Сапожник сплюнул – не на землю, а в сторону, будто боялся заразить камни.

– Работы нет. Ночлега нет. Есть только страх и чужие замки. Твой дом... продали. Не спрашивай кому. Никто не гордится тем, что выжил.

Слова «твой дом» ударили так, будто в грудь снова навалили землю. Матьё машинально сжал рукав – и почувствовал под тканью холодную округлость бусины. Он удержался, чтобы не вытащить браслет наружу. Если показать – придётся объяснять. А объяснения приводят людей ближе, чем любовь.

– А... хозяйка? – выдавил он.

Сапожник посмотрел на него долгим, тяжёлым взглядом, которым смотрят на человека, собирающегося в реку без моста.

В этом взгляде было не любопытство, а просьба: «Не втягивай меня». Люди, пережившие чуму, стали экономными. Они экономили не только хлеб. Они экономили участие.

– Твоя мать? – сказал он тихо, и от того, что он произнёс это слово, воздух стал гуще. – Она ходила сюда. Стояла под дверью. Потом перестала. Её увели в приют при монастыре, когда начались... разговоры.

– Разговоры?

– Что ты не умер. Что тебя «не взяла». Что ты вернёшься.

Люди любят надеяться, когда им страшно. А потом ненавидят, если надежда оказывается настоящей.

Матьё почувствовал, как у него поднимается злость, и злость эта была странной: не на людей и не на судьбу, а на собственное тело. На его исправность. На его спокойствие. Если бы он умер, у матери осталось бы горе. Горе – вещь ужасная, но понятная. Теперь у неё было ожидание. Ожидание хуже: оно не имеет конца.

Матьё почувствовал, как внутри поднимается что-то горячее – наконец-то. Но горячее было не кровь, а мысль.

Он понял простую вещь: город уже похоронил его второй раз – не в земле, а в головах. И этот второй раз был окончательнее. Могилу можно выкопать. Из чужого страха не выкапываются.

– Не ходи в монастырь, – сказал сапожник, словно прочёл его. – Там сейчас много таких, как ты. Не больных. Других. Слишком тихих. Люди шепчут, а шёпот убивает быстрее крика.

Матьё поблагодарил кивком и ушёл, не оглядываясь. Он знал: если оглянется, увидит своё прошлое, стоящее у чужой двери, и не сможет уйти.

К вечеру он оказался у реки. Вода была чёрная и быстрая – как будто сама торопилась прочь от города. На другом берегу стоял приют – низкое здание с белёными стенами. В окне горела свеча.

Он смотрел на неё долго. Ему не нужен был огонь, чтобы греться. Но ему нужен был огонь, чтобы помнить, что люди всё ещё зажигают свечи не только для мёртвых.

Матьё поднял рукав. Браслет вылез из тени на кожу – плетение было надорвано, как будто и оно прошло через могилу. Зелёные бусины блеснули в сумерках нелепо красиво.

– Мама, – сказал он беззвучно.

Потом опустил рукав и отошёл от реки. Не к приюту. В другую сторону – туда, где начиналась дорога без имени.

Он уходил, потому что впервые понял: его спасло не чудо и не браслет. Его спасла случайность, которая теперь требовала расплаты. И платить придётся не одному ему.

## Глава 2. Чужая кожа

Он научился не возвращаться, делая вид, что возвращается.

Эта наука оказалась проще, чем молитва, и тяжелее, чем ремесло. Молитва хотя бы обещает ответ. Ремесло даёт в руки вещь. А исчезновение – только пустоту, которую нужно держать так, чтобы никто не заметил, как она растёт.

В первую ночь после реки он нашёл пустой овин на краю деревни. Солома там уже пахла плесенью и мышами. На стене висел старый мешок с зерном, прорванный так, будто его разорвали когтями. Матьё снял мешок и лёг на него, как на матрас, потому что привычка к удобству не умирает сразу – даже если умирает человек.

Он не чувствовал голода. Но тело всё равно искало жесты голода: руки сами тянулись к рту, язык вспоминал вкус хлеба, зубы словно ждали, что им дадут работу. Это было похоже на боль в отсутствующей конечности – только вместо боли была пустая потребность.

На рассвете он вышел к колодцу. Деревенские женщины уже стояли там, каждая – на расстоянии вытянутой руки

от другой. Вода из ведра лилась в кувшин, не касаясь чужих пальцев. Одна женщина увидела Матьё, перекрестилась и отступила. Не потому, что узнала. Потому, что любой незнакомец теперь мог быть вестником смерти.

Он сказал «доброе утро» и сам услышал, как неверно звучит это слово. Утро не бывает добрым, если оно приносит новый список имен.

Ему дали воды – молча. Небольшой ковш. Так бросают кость собаке: чтобы ушла и не вернулась. Матьё сделал вид, что пьёт. Вода была холодной и чистой, и он вдруг понял: если бы он мог хотеть пить, он был бы счастлив. Счастье – это когда твоё тело имеет право просить.

Он отошёл к сараям, сел на бревно и развернул рукав. Браслет был на месте. Плетение потемнело, в нитях застряла земля, и зелёные бусины стали выглядеть не как украшение, а как маленькие глаза, которые видели слишком много. Одна бусина треснула – тонко, по диагонали. Он провёл по ней ногтем и почувствовал шероховатость.

– Не трогай, – сказал он сам себе. – Не привыкай.

Но пальцы всё равно запомнили форму. Запоминать – их работа.

К полудню он уже понимал: его выдаёт не лицо. Его выдаёт спокойствие.

Люди вокруг были в лихорадке даже без температуры. Они дёргались от каждого кашля, оглядывались на каждый крик, меняли сторону улицы, если навстречу шёл кто-то слишком бледный. Они были нервными, потому что их тела помнили боль. А тело Матёе, словно извиняясь, не помнило ничего – оно стало слишком исправным.

Он попытался добавить себе «человечности» искусственно: начал прихрамывать, как будто у него болит колено. Потом – кашлять в рукав. Потом – держать ладонь на животе, будто там пусто и жжёт. Это выглядело плохо, слишком старательно. Человек, который играет боль, опаснее человека, который болит.

В деревне его всё равно не оставили бы. В городе – тем более. Значит, ему нужна была роль.

Роль – это паспорт, который выдаёт толпа. Если ты в роли, тебя не рассматривают. Если ты без роли, тебя обследуют взглядом, как язву.

Он нашёл роль у дороги.

Там стоял странствующий торговец с тележкой – не тот, что продавал стеклянные бусины его матери, а другой, такой же. У торговца были усы, как у актёра на ярмарке, и глаза, которые улыбались раньше рта.

На тележке лежали ножи, иглы, зеркальца, дешёвые ленты и маленькие пузырьки с настойками. Над всем этим висел запах трав – горький, как признание.

– Хочешь заработать? – спросил торговец, когда Матьё подошёл слишком близко.

– Что угодно, – ответил Матьё, и его голос прозвучал честно, потому что «угодно» теперь означало «лишь бы не быть собой».

Торговец оценил его быстро: обувь грязная, но целая; плащ мокрый, но без дыр; руки поцарапаны, но ногти не сломаны до мяса – значит, не нищий в старом смысле. Глаза – слишком спокойные. Торговец не понял, что это значит, но почувствовал.

– Ты не кашляешь, – сказал он.

– Пока нет.

– Тогда не стой рядом с моим товаром. – Он ткнул пальцем в сторону, где стоял мешок с лентами. – Пойдёшь впереди, будешь кричать, что я продаю уксус и травы против чумы. Деревням нравится слушать, что от чумы есть средство. Городам – что средства мало.

– А если меня побьют?

Торговец пожал плечами.

– Не побьют. Сейчас люди бьют только тех, кто слишком уверен. Ты, я вижу, не уверен ни в чём. Это безопасно.

Они шли два дня. Матьё кричал то, что нужно, и учился кричать так, будто сам верит. Верить – опасно. Но кричать без веры – ещё опаснее: голос выдаёт пустоту.

Ночевали в сараях и под навесами. Торговец ел хлеб и сыр. Матьё делал вид, что ест. Он откусывал маленькие куски, жевал долго и незаметно выплёвывал в траву, когда торговец отворачивался. На третью ночь торговец заметил и не сказал ничего. На четвёртую – сказал.

– Ты что, болен? – спросил он почти заботливо.

– Не знаю, – ответил Матьё.

Торговец пожевал губу, будто пробовал слово на вкус.

– «Не знаю» – самое честное, что можно услышать сейчас, – сказал он. – Но честность редко бывает полезной. Люди не любят, когда им отвечают «не знаю». Они предпочитают «знаю, кто виноват». Тогда можно ударить в сторону.

Матьё промолчал. Он думал: «не знаю» – это не только про болезнь. Это про него самого. Он прожил уже столько дней после могилы, а всё ещё не имел имени для того, что с ним случилось.

Это было правдой. Он действительно не знал, что с ним случилось. Он знал только последствия: ему не нужно есть, и значит, ему нельзя быть увиденным. Люди будут задавать вопросы. Вопросы будут вести к ответам. Ответы будут вести к костру – не обязательно буквальному. Достаточно, чтобы тебя назвали.

Торговец смотрел на него долго, потом вынул из сумки маленький пузырёк с настойкой.

– Возьми. Это горько, но поможет, если у тебя внутри что-то умерло.

Матьё взял пузырёк и сделал вид, что пьёт. Горечь действительно была. Он почувствовал её – и это было почти облегчением: наконец-то мир оставил след на его теле.

На пятую ночь торговец рассказал своё имя: Ги. Не от доверия – от одиночества. В одиночестве люди быстро начинают называть себя вслух, чтобы не раствориться.

– А ты кто? – спросил он.

Матьё почувствовал, как слово «кто» упирается в него, как палка. «Кто» предполагает биографию. А его биография была дырой.

Матьё понял: если сейчас сказать любое имя, оно станет камнем. Камни не тонут. Камни остаются, их находят, по ним строят дом. Ему нельзя было оставаться.

– Жак, – повторил он.

Ги усмехнулся.

Матьё промолчал.

На шестой день они вошли в город поменьше – рынок там

ещё держался, как держится гнилая доска на одном гвозде. Люди приходили не за товаром, а за иллюзией, что жизнь продолжается: купить ленту – значит, завтра ещё будет платье; купить иглу – значит, будет что штопать.

У прилавка с яблоками Матьё услышал разговор двух женщин. Они шептались о «неумершем». Слово прозвучало так легко, будто это была кличка собаки.

– Говорят, – сказала одна, – его похоронили отдельно, а он вернулся. И не ест. И не стареет.

– Врут, – ответила другая, но голос её дрогнул. – Если такое бывает, значит, Бог отвернулся.

Матьё почувствовал, как у него леденеют пальцы. Не от страха – от понимания. История уже гуляла по дорогам. И она будет гулять быстрее, чем он.

Он ушёл от Ги в тот же вечер.

Без прощания, без объяснений. Он оставил торговцу пuzырёк с настойкой и пару монет, которые заработал криком. Монеты пахли уксусом и чужими руками. В этом была справедливость: деньги всегда пахнут чужими жизнями.

Ночью он шёл один по просёлку и впервые попытался проверить пределы своего тела. Он поднял камень – тяжёлый, мокрый – и сжал так крепко, что пальцы побелели. Боль пришла, как обычно. Кровь выступила из-под ногтя. Значит, он не был статуей.

Он ударил себя ножом в ладонь – мелко, неглубоко, чтобы не потерять руку, потому что рука была инструментом. Рана раскрылась, потом начала стягиваться быстрее, чем должна была. Он смотрел на это и чувствовал тошноту – наконец-то настоящую: его тело вело себя не как тело.

– Что ты такое? – прошептал он.

Ответа не было. Был только звук ночи: где-то кричала птица, и крик этот был похож на детский.

Он остановился у ручья, промыл ладонь и увидел в воде своё лицо – усталое, грязное, но живое. Лицо человека, который должен был быть в земле.

Ему хотелось разбить отражение камнем. Но он не стал. Он понял: его работа теперь – не жить. Его работа – выглядеть так, будто он может умереть.

## Глава 3. Паломник без Бога

Он понял, что одиночество опаснее толпы.

Толпа не смотрит. Толпа несёт, как река: ты или плывёшь, или тонешь незаметно. Одиночество же – это зеркало. А зеркала в те месяцы было слишком много: в воде, в витринах лавок, в глазах людей, которые ещё не умерли и уже стали подозревать всех.

Через неделю дороги он увидел их – паломников.

Их было человек двадцать, может больше, но они шли так молча и слаженно, что казались одним существом: длинным, чёрным, с пустыми промежутками между ребрами. На плечах у некоторых висели сумки, у некоторых – кресты. У нескольких – только палки.

Паломники несли с собой запах дыма и трав. И ещё – запах желания быть наказанными. Матьё это узнал сразу: он видел такое на лицах тех, кто выжил, когда другие умерли. Люди часто готовы заплатить болью за право продолжать.

Он подошёл с края, как подходит голодная собака к костру: не в лоб, а кругом. Один из паломников – худой мужчина

с обветренным лицом – посмотрел на него и не отвёл взгляд.

– Куда идёшь? – спросил он.

– Туда же, – сказал Матьё и кивнул в сторону, куда шли они. Он не знал, куда они шли. Но он знал, что ему нужна их дорога.

– «Туда же» – это не ответ, – сказал мужчина.

– Я не знаю слов, которые сейчас звучат как ответ.

Мужчина усмехнулся, и в этой усмешке не было жестокости – только усталость.

– Тогда ты как мы. Иди. Только держись сзади. У нас есть правило: чужой сначала должен научиться молчать.

Матьё пошёл в хвосте колонны.

У паломников не было песен. Это поразило его. Он видел паломников раньше – в те времена они пели громко, чтобы слышать себя и верить, что голос громче смерти. Теперь песни исчезли. Остались только шаги. Шаги были мерными, как удары сердца у человека, который ещё не понял, что сердце можно потерять.

Ночью они остановились у придорожной часовни. Часовня была закрыта – двери заколочены. На стене кто-то углём написал: «НЕ ВХОДИТЬ». Даже Бог теперь был на карантине.

Паломники разожгли костёр снаружи. Ели сухой хлеб. Пили воду с уксусом. Матьё сидел чуть в стороне и делал вид, что жуёт. Он научился этому лучше: подносить кусок к губам, откусывать, держать во рту, как держат молитву – и потом незаметно прятать в карман. В кармане хлеб превращался в камень. Камни можно выбросить позже.

– Ты не ешь, – сказал кто-то рядом.

Матьё вздрогнул. Он не услышал шага. Это был молодой парень, почти мальчик. Лицо у него было тонкое и слишком чистое для дороги: такие лица обычно долго не живут.

– Ем, – сказал Матьё.

Парень посмотрел на его руки.

– Тогда почему у тебя нет крошек? – спросил он и тут же добавил, испугавшись собственной смелости: – Прости. Я... я просто смотрю.

– Смотри меньше, – сказал Матьё. – Так проще жить.

– А жить вообще можно «проще»? – Парень улыбнулся, и улыбка вышла кривой. – Я думал, мы идём за отпущением.

– Отпущение – это слово для тех, кто уверен, что его держат.

Парень замолчал. Потом протянул руку.

– Меня зовут Пьер.

Матьё не хотел называть своё имя. Но он мог дать ему другое – имя, которое ничего не стоит.

– Жак, – сказал он.

Ночью, когда костёр угас, к ним подошёл человек в сером плаще. Паломники притихли. Этот человек шёл так, как ходят те, кто привык входить в комнаты, где люди уже решили, кого бояться. В одной руке он держал посох, в другой – сумку. На поясе у него висел кожаный футляр.

– Брат Лоран, – прошептали где-то.

Лоран был монахом – это было видно по выбритой тонзуре и по тому, как он смотрел. Монахи смотрят не на лицо, а на душу. И если души нет – они всё равно что-то видят, потому что должны видеть. Это их работа.

– Кто среди вас кашляет? – спросил Лоран.

Никто не ответил.

– Кто среди вас хоронит? – спросил он.

Один мужчина поднял руку: у него тряслись пальцы.

– У меня брат умер вчера, – сказал он глухо. – Мы оставили его в поле. Не смогли...

Лоран кивнул, как врачу кивают, когда признаются в грехе.

– Я не судья, – сказал он. – Я – тот, кто перевязывает. Иногда это одно и то же.

Он достал из футляра инструменты: иглы, нитки, маленький нож. Не церковные предметы. Медицинские. Матьё почувствовал, как внутри у него снова поднимается холод: он никогда раньше не видел монаха, который носит иглы так же

уверенно, как крест.

– К вам кто-то новый пришёл, – сказал Лоран, глядя на Матьё.

Это было утверждение, не вопрос.

Матьё заставил себя кивнуть.

– Имя?

– Жак.

– А род?

– Ничей.

Лоран присел рядом. Он не приближался слишком близко – держал правильную дистанцию, как человек, который уважает заразу и человека одновременно.

– Ты идёшь с ними, потому что боишься быть один, – сказал он спокойно.

Матьё хотел возразить, но не нашёл слов.

– Это нормально, – продолжил Лоран. – В одиночестве люди начинают разговаривать с мёртвыми. А мёртвые плохо советуют.

Пьер, сидевший рядом, уставился на монаха с восхищением: ему нравились люди, которые умеют превращать страх в фразу.

Лоран спросил у паломников о дороге, о больных, о слухах. Слухи звучали как молитвы: повторяя их, люди надеялись, что они перестанут быть правдой.

– Говорят, – сказал один, – есть «неумерший». Встал из отдельной могилы. Не ест. Не стареет. И на него не действует извесьть.

– Говорят, он ходит между городами, – добавил другой. – И где он проходит, там потом находят пустые дома.

Лоран слушал внимательно. Но не верил. Или верил иначе: как врач верит не в чудо, а в возможность.

– Слухи часто приклеиваются к одному лицу, – сказал он. – Людям легче бояться конкретного, чем безличного. Безличное – это Бог. Конкретное – это сосед.

Он снова посмотрел на Матьё, и взгляд его стал чуть уже.

– Ты не кашляешь, – сказал Лоран.

– Я стараюсь, – ответил Матьё, и понял, что сказал лишнее.

Лоран не улыбнулся.

– А стараешься ты потому, что знаешь, как это выглядит со стороны, – сказал он тихо. – Я видел много больных. Я видел много умирающих. И я видел тех, кто выжил. Но ты... ты не похож ни на одного из них.

Костёр треснул, и искра взлетела вверх, как маленькая душа. Пьер испуганно втянул голову в плечи. Остальные паломники делали вид, что не слышат. В толпе всегда удобно быть глухим.

Матьё хотел встать и уйти прямо сейчас. Но у дороги ночью есть свой закон: если ты уходишь внезапно, за тобой смотрят. Если за тобой смотрят, тебя запоминают. А ему нельзя было быть запомненным.

– Я просто... – начал он.

– Не говори, – остановил его Лоран. – У меня тоже есть правила. Первое: если человек приходит ко мне с тайной, я не вырываю её руками. Тайны иногда держат человека живым.

– А второе? – спросил Пьер, слишком быстро, как ребёнок, который хочет сказку.

Лоран посмотрел на него.

– Второе: если тайна убивает других, она перестаёт быть тайной. Она становится преступлением.

Матьё почувствовал, как браслет под рукавом вдруг стал тяжёлым, будто бусины налились свинцом. Он вспомнил мать – её пальцы, пахнувшие мылом и тестом. Он вспомнил её страх. И впервые подумал: если она дала ему браслет от дурного глаза, а он стал дурным глазом для других – каково это?

– Я никого не убиваю, – сказал он, и сам не был уверен.

Лоран кивнул.

– Я хочу тебе поверить, – ответил он. – Потому что если я не поверю, мне придётся действовать. А действовать сейчас – значит ошибаться.

Он встал.

– Завтра я пойду с вами до монастыря у переправы. Там приют, там больные. Мне нужен помощник: крепкий, молчаливый, умеющий носить воду и держать язык за зубами. – Он снова посмотрел на Матьё. – Если ты хочешь остаться живым, стань полезным. Это лучший способ спрятаться.

Пьер выдохнул, словно им предложили не работу, а спасение.

А Матьё понял, что у монаха в словах есть ловушка. «Остаться живым» – это обещание, которое к нему больше не относится. Он уже остался. Теперь ему нужно было другое: остаться незаметным.

Утром они пошли дальше вместе. Лоран шёл рядом с паломниками, не впереди и не сзади. Так ходят те, кто не хочет власти, но не может отказаться от ответственности.

Днём они дошли до переправы. Река здесь была шире и медленнее, чем та, у которой Матьё стоял у своего города. На другом берегу белел монастырь. Низкий, крепкий, с узкими окнами. Ворота были открыты. Это значило: внутри ещё не умерли от надежды.

У ворот их встретил брат с чёрными кругами под глазами. Он сказал: «Не входите все сразу. По одному.»

Паломники потянулись цепочкой. Матьё шёл ближе к концу. Он чувствовал, как монастырь смотрит на него стенами – холодно, безлично. Как могила.

Внутри пахло уксусом, дымом и гноем. Запах болезни был здесь не абстракцией, а предметом. Он лежал на лавках, на стенах, на пальцах братьев.

Лоран повёл Матьё в подсобку, где стояли бочки с водой и корзины с тряпьем.

– Носи, – сказал он. – Меняй повязки. Не касайся лица. Если почувствуешь жар – скажешь сразу.

Матьё кивнул и взял ведро. Ведро было тяжёлым. Тяжесть была понятной. Он почти обрадовался.

Через час он уже знал: здесь умирают не тихо. Здесь умирают громко. Не от боли – от страха. Люди не хотели уходить из мира, который и так стал слишком пустым.

В одной из комнат он увидел женщину, сидящую у стены.

Лицо её было серым. Глаза – живые. Она смотрела на его руки, когда он менял воду.

– У тебя браслет, – сказала она вдруг.

Матьё замер.

Он не показывал браслет. Он держал рукава опущенными. Но нить, видимо, выбилась. Зелёная бусина мелькнула, как искра.

Женщина улыбнулась одними глазами.

– Моя мать тоже плела такие, – прошептала она. – Только красные. Говорила: красный отгоняет смерть. – Она кашлянула, и на губах у неё осталась тёмная точка. – Не помогло.

Матьё хотел спрятать руку. Но спрятать было поздно: взгляд уже коснулся.

Женщина продолжила, будто разговаривая не с ним, а со своим прошлым:

– Если бы помогло... я бы отдала всё, чтобы просто... просто стареть. Стареть – значит иметь время.

Матьё вышел из комнаты с ведром, и вода в ведре дрожала, хотя он держал его крепко. Он впервые услышал формулировку, от которой стало плохо: стареть – значит иметь время. А у него время стало как вещь, которую нельзя положить на пол. Руки устают, а положить нельзя.

Вечером Лоран нашёл его у колодца.

– Ты видел её, – сказал он.

– Я вижу всех, – ответил Матьё.

Лоран молчал несколько секунд, как будто решал, стоит ли задавать вопрос.

– Ты был там, – сказал он наконец. – В земле. Я не знаю, как, но... я видел таких один раз. В Авиньоне. Похороненный, который вернулся. Он прожил три дня. Его убили не люди. Его убил страх людей. Они не смогли смотреть на то, что нарушает порядок.

Матьё сглотнул.

– Я не хочу... – начал он.

– Я знаю, чего ты не хочешь, – перебил Лоран. – Ты не хо-

чешь быть чудом. Ты хочешь быть грязью под ногтями – чтобы тебя смыли, и никто не вспомнил. Но если ты не чудо, тогда ты – болезнь. А болезнь мы лечим.

– Я не заражаю, – сказал Матьё.

– Ты уверен? – Лоран не поднял голос. Он был страшен именно этим: спокойствием профессионала. – Ты не ешь, говоришь. Ты не болеешь, как остальные. Может быть, ты и не заражаешь. А может быть, ты – причина, по которой кто-то рядом умирает быстрее. Ты не знаешь. Я не знаю. И это худшее.

Матьё понял, что должен уйти. Не завтра. Не ночью. Сейчас. Потому что Лоран – человек, который может принять решение. А когда такой человек принимает решение, он не отступает.

Он сделал единственное, что умел: поблагодарил и исчез.

Он вышел через задний двор, где сушились тряпки, перепрыгнул низкую стену и побежал к лесу. Бежать было странно: дыхание не сбивалось, сердце не ускорялось. Он мог бежать долго. Он мог бежать, пока не кончится мир. И от этого хотелось остановиться и кричать.

В лесу он остановился только тогда, когда монастырь перестал быть виден. Он прислонился к дереву и поднял рукав. Браслет вылез наружу, словно сам хотел быть увиденным. Зелёные бусины светились в сумерках так, будто внутри у них была память о жизни.

Матьё сжал браслет в кулаке, так крепко, что бусины больно врезались в кожу.

– Если ты талисман, – прошептал он, – то ты проклятый.

Где-то далеко, за деревьями, ударил колокол. Монастырский. Не по мёртвому. По живому, который теперь тоже был подозрением.

## Глава 4. Печатный дьявол

Когда умирают люди, города пустеют. Когда умирает память, города становятся теснее.

К концу века Матьё знал это так же уверенно, как знал вес собственного тела. Люди перестали умирать от чумы тысячами, но страх никуда не ушёл – он просто научился жить дольше. Он переселился в бумаги.

Бумага была новым видом вечности. И это было почти оскорблением.

Он называл себя Мартеном. Иногда – Гансом. Иногда – Никто. И всякий раз, когда произносил новое имя, он ощущал, как старое отходит в тень, но не исчезает. Ничто не исчезает полностью, если его однажды произнесли при свидетелях.

Он держался торговых дорог – не потому, что любил торговлю, а потому что на дорогах сменяются лица. На дорогах можно быть чужим и не вызывать вопросов: чужой здесь – профессия.

В одном городе – слишком богатом для его спокойствия

и слишком нервном для его безопасности – он впервые увидел печатный станок.

Станок стоял в глубине мастерской, как алтарь. Деревянный, тяжёлый, скрипящий. Над ним висел запах масла и металла. И ещё – запах чернил: густой, похожий на засохшую кровь, только без железного привкуса.

Мастер печати был молод – не по возрасту, а по самоуверенности. Он говорил так, будто надел на себя будущее и не боится, что оно порвётся.

– Бумага сильнее меча, – сказал он, показывая лист, только что вынутый из пресса. – Меч убивает одного. Бумага убеждает тысячу.

Матьё смотрел на буквы. Они были ровными, одинаковыми, без человеческой нерешительности. Рукописный текст всегда выдаёт руку: дрожь, спешку, гордыню. Здесь же дрожи не было. Машина делала слова холодными и точными. Слова становились вещами.

– И сколько таких листов ты можешь сделать за день? – спросил Матьё, будто из любопытства.

Мастер улыбнулся.

– Сколько нужно. Если есть бумага и деньги – сколько нужно.

Матьё почувствовал, как у него под рукавом отозвался браслет – не болью, а странной тяжестью. Зелёные бусины стали его единственным настоящим документом: их нельзя было переписать, их нельзя было напечатать. Они были физическим свидетельством того, что у него была мать и была жизнь до тьмы.

Он не показывал браслет никому. За века он понял: личное – это рычаг. Любой, кто узнает, что для тебя важно, сможет двигать тебя как дверью.

Мастер тем временем говорил о заказах. О листовках против ростовщиков. О молитвах, отпечатанных сотней экземпляров, чтобы спасение стало доступным, как дешёвая лента. О том, что скоро начнут печатать не только молитвы, но и списки – списки должников, списки умерших, списки тех, кого «нужно проверить».

Списки.

Матьё понял, что его новый враг – не болезнь. Его враг – повторяемость.

Он ушёл из мастерской и долго ходил по улицам, пока шум города не превратился в ровный фон. Вечером он остановился у рынка и услышал, как двое спорят о бумаге.

– Бумага врёт, – сказал один, держа в руках отпечатанную молитву. – Она не знает, кто я.

– Бумага не врёт, – ответил другой. – Она просто не забывает.

Матьё хотел смеяться, но не смог. Не забывать – это и было проклятие, которое он носил в себе. Теперь проклятием заразился мир.

Ночью он снял комнату на чердаке у вдовы. Вдова была молчаливая, с руками, которые постоянно что-то терли: стол, одежду, собственные пальцы. У неё уже умерли двое. Это видно по человеку: после второй смерти он перестаёт выглядеть так, будто ждёт третью.

– Ты один? – спросила она, принимая деньги.

– Да.

– Тогда не шуметь. И если у тебя начнётся жар – уходи

сразу. Я не хочу снова мыть лестницу.

Матьё кивнул.

В комнате было зеркало. Маленькое, в треснувшей раме. Он не смотрел в зеркала без необходимости – это было похоже на разговор с тем, кто не умеет лгать. Но теперь он посмотрел.

Лицо было тем же. Глаза стали старше, чем лицо. Это и пугало: лицо оставалось.

Утром он пошёл туда, где продавали бумагу и чернила. Он купил лист – чистый, белый, слишком дорогой для его бедной роли. Купил перо. Купил маленький флакон чернил, которые пахли как мастерская.

Он вернулся на чердак и написал своё имя.

Не Матьё. Не Мартен. Он написал «Жак». Имя-пыль.

Потом написал «умер».

Слово выглядело ничтожным на бумаге. Он перечеркнул его, написал снова. Чернила подсыхали и оставляли край, как рана оставляет шрам.

Ему не хватало одного – подписи, печати, свидетельства. Того, что делает бумагу законом.

Он понял, что печать – это новая церковь. И новая инквизиция.

В следующие недели он делал то, чего никогда не хотел делать: он учился у печатников. Не официально – через работу, через подмастерье, через ночи, когда руки пачкаются чернилами так, что потом их не отмыть. Чернила въедаются под ногти и остаются, даже если ты меняешь имя.

Его взяли в одну мастерскую «на грязную работу». Носить бумагу, топить печь, шевелить свинцовые литеры, не спрашивая, что из них складывают. Матьё делал всё молча. Молчание всегда было его лучшим навыком.

Однажды ночью хозяин мастерской – старый, с пальцами, чёрными от работы, – задержал его у станка.

– Ты аккуратный, – сказал он. – Для бедняка слишком аккуратный.

Матьё не ответил.

– У тебя нет голода, – продолжил хозяин. – Я вижу. Ты ешь, но ешь как человек, который вспоминает еду, а не нуждается в ней.

Матьё почувствовал, как холод ползёт по позвоночнику. Этот человек видел не лицо. Этот человек видел привычки тела. А привычки – хуже документов: их нельзя подделать.

– Ты хочешь на меня донести? – спросил Матьё ровно.

Хозяин хмыкнул.

– Доносят те, кто верит, что за это их пощадят. Меня уже не пощадят. Я слишком много знаю о людях: что они печатают днём и что делают ночью.

Он наклонился ближе и прошептал:

– Ты не один такой. Я видел одного. Давным-давно. Тогда мы ещё писали от руки. Он тоже не ел. И тоже держал на запястье что-то зелёное. – Хозяин прищурился. – Ты, наверное, думаешь, что это твой талисман. А я думаю, что это твой якорь. И якоря тянут ко дну.

Матьё не показал браслет, но пальцы сами сжались на ткани рукава, будто проверяя, на месте ли он. Хозяин заметил

движение и улыбнулся так, как улыбаются люди, которым нечего терять.

– Слушай внимательно, – сказал он. – Скоро придут люди из ратуши. Они хотят «учёт». Они хотят знать, кто живёт в городе, кто пришёл, кто ушёл. Бумага любит порядок. А порядок любит кровь. Если ты хочешь жить – тебе нужно умереть на бумаге первым.

– Как? – спросил Матьё, и это слово сорвалось прежде, чем он успел его остановить.

Хозяин вытащил из ящика лист с печатью – настоящий документ, оставшийся от заказов. Печать была красной, как засохшая рана. Он положил лист на стол.

– Печать – это всё, – сказал он. – А печати продаются. Даже если делают вид, что нет.

Через два дня Матьё держал в руках бумагу о смерти человека по имени Жак. Бумага была грубой. Чернила – синими. Печать – кривой, но настоящей. В бумаге было написано, что Жак умер от «лихорадки и слабости» и похоронен за стенами «во избежание».

Он читал это и испытывал то, что не испытывал со дня

могилы: облегчение.

Его снова похоронили. Только теперь – правильно.

Но облегчение длилось недолго. Потому что на следующий день он увидел, как на площади продают листовку с чужим лицом, вырезанным на дереве. Лицо было грубое, но узнаваемое. Под ним стояли слова: «Осторожно: бродячие отступники, приносящие заразу и смуту».

Лицо было не его. Но оно могло стать его. Печать умеет создавать лица, если ей нужно.

Матьё понял, что в новом мире недостаточно скрыться. В новом мире нужно опередить бумагу.

Он собрал вещи ночью. Снял комнату у вдовы, не попрощавшись. Браслет он не снимал – только подтянул рукав повыше, чтобы нитка не выбилась.

У ворот города его остановили двое стражников. Они держали списки.

– Имя? – спросили они.

Матьё посмотрел на лист, где уже были чёрные строки.

Строки были как ряды могил.

– Жак, – сказал он спокойно.

Стражник ткнул пальцем в бумагу, пробежал глазами вниз.

– Жак... умер, – прочитал он и поднял глаза.

Матьё улыбнулся – впервые за долгое время – и улыбка вышла не тёплой, а правильной.

– Вот именно, – сказал он. – Я умер.

Стражник заморгал, не понимая шутки. Потом фыркнул и махнул рукой.

– Иди. Сейчас таких много. – Он добавил, глядя на список: – Слишком много.

Матьё вышел за ворота и почувствовал, как город остаётся позади не как место, а как запись.

Дорога снова была свободной. Но свободной стала и бумага. Она могла догнать его теперь где угодно.

## Глава 5. Ересь тела

В XVI веке люди начали спорить с Богом громко.

Они спорили с ним в трактирах и на площадях, на кафедрах и у печей. Спорили через книги – и книги делали спор заразнее любой болезни. Раньше ересь шептали. Теперь её печатали.

Матьё шёл туда, где спор ещё не стал костром. Он ошибся. Спор всегда становится костром, если у него достаточно бумаги.

Он жил под именем Мартена уже несколько лет – достаточно, чтобы люди привыкли к его лицу, но недостаточно, чтобы заметили его неподвижность. Он выбрал ремесло, которое оправдывало постоянные переезды: переписчик и носильщик книг, человек, который «знает буквы». Книги открывали двери. И одновременно оставляли следы: на полях, в списках, в памяти тех, кто любит читать чужие имена.

В одном городке, где церковная башня была выше ратуши, он впервые увидел, как слово превращается в приговор.

На площади стоял стол, а на столе – стопка листовок. Мо-

лодой проповедник раздавал их бесплатно. Это было подозрительно: бесплатное всегда требует платы позже.

– Читай! – кричал проповедник. – Не верь тем, кто прячет истину за латынью! Истина должна быть на языке матери!

Люди брали листовки и улыбались – не потому, что понимали, а потому, что им нравилось быть частью чего-то большого. Большое всегда обещает защиту.

Матьё взял лист. Из любопытства. Из профессиональной осторожности. Из той привычки к страху, которая стала его внутренним компасом.

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.